

140
N-38

Г. В. ПЛЕХАНОВ.

ЛИТЕРАТУРА

И

КРИТИКА

СБОРНИК СТАТЕЙ

ТОМ I

„НОВАЯ МОСКВА“

1923

140
П-38

83
П38

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ЛИТЕРАТУРА И КРИТИКА

СБОРНИК СТАТЕЙ

ТОМ I.

БИБЛИОТЕКА 5958
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ И УЧЕБНЫХ РАБОТНИКОВ

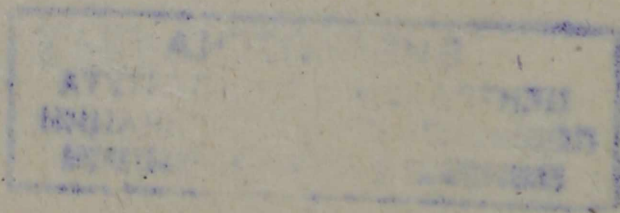
„НОВАЯ МОСКВА“

1922.

5 - ДЕК 2011

Отпечатано в 5-й типо-
литограф. „Мосполиграф“,
Мыльников пер, 14, в
количестве 5000 экзempl.

Главлит. № 2944.



СУДЬБЫ
РУССКОЙ КРИТИКИ

А. Л. ВОЛЫНСКИЙ. „РУССКИЕ КРИТИКИ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ“.

I.

Г. Волынский написал книгу под заглавием „Русские критики“. Что это за книга?

По платью встречают, по уму провожают,—говорит пословица. В жизни очень нехорошо встречать людей по платью, но в „республике слова“ это не только позволительно, а прямо неизбежно. Литературная внешность всякого данного произведения прежде всего бросается в глаза, а на основании этого „платья“ можно составить себе довольно точное понятие об авторе. *Le style c'est l'homme*.

Литературная внешность книги г. Волынского не только громко кричит, а — прямо надо говорить — вопит против него.

Фамусову нравилось когда-то, что московские барышни ни одного слова не произносили просто, а все с ужимкой. Г. Волынский почему-то вообразил, что следует подражать этим барышням. Он положительно не говорит иначе, как с ужимкой и при том с какой-то крикливой истерической ужимкой. Коснется ли дело Пушкина, г. Волынский закатывает глазки и выкрикивает: „Его пафос не в том, в чем видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская природа. Раздолье без конца, простор, необъемлемый глазом, бесконечные леса, по которым пробегает таинственный шум, и во всем этом какое-то томление невыразимой тоски и печали. Порыв, удалой разгул страстей и затем, через несколько мгновений, мысль о смерти, вопль неудовлетворенного чувства, настроение бессвязных и своею бессвязностью мучительных запросов, встающих в тумане. Таков

гений русской жизни. Такова русская душа" и т. д., и т. д. Заходит ли речь о сатире Гоголя, г. Волынский опять поднимает очи горе и вещает: „Повсюду (у Гоголя) чувствуется сдавленный смех сквозь слезы, фанатическая ненависть к пороку, стремление оторваться от земной жизни, не оставляющей в душе ничего, кроме отчаяния, страстный порыв к небу с широко раскрытыми от ужаса глазами, ищущими пристанища и спасения для измученного сердца“. Добролюбов не знал, как уверяет г. Волынский, „никаких широких увлечений с кипением всех чувств“; статьи же Белинского „облиты светом внутреннего пожара“. Короче, какую ни откройте страницу в книге „Русские критики“, вы непременно встретитесь или с „дуновением вечных, идеалов“, или „с вдохновением свыше“, или с „человеком, который мыслил вечность“ (это Гегель), или с „порывистой повадкой борьбы в народном духе“ (это у Белинского была, извольте ли видеть, натура, отличающаяся такой „повадкой“), или, наконец, еще с каким-нибудь другим высокопарным вздором.

Часто при чтении книги г. Волинского нам хотелось воскликнуть словами Базарова: „друг мой, Аркадий Николаевич, пожалуйста, не говори красиво!“ Однако мы тут же сознавались, что мы несправедливы к Кирсанову. Он был — нечего греха таить — порядочный фразер, но фраза у него была плодом почти детской наивности; фразерство же г. Волинского с наивностью общего ничего не имеет. Оно почему-то напоминает „пафос“ Утешительного, о котором Швахнев замечает: „горяч необыкновенно: еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уже дальше ничего не поймешь“. Очень, очень дурно нарядил свои мысли г. Волынский!

А каковы именно эти мысли? каков „ум“ его книги?

Издавая в свет свою книгу, г. Волынский „хотел представить более или менее законченный труд по истории русской критики в ее главнейших моментах“. Из этого „труда“ явствует, что у нас до сих пор не было „истинной критики“, и что если нас не выручит г. Волынский, то и впредь ничего хорошего нам ожидать невозможно.

„Истинная критика“ есть „философская“ и именно *идеалистическая* критика. В качестве таковой, она должна,

конечно, опираться на какую-нибудь идеалистическую систему. Изложение г. Волынского не дает вполне ясного понятия о том, какой именно философской системы он придерживается. Но, кажется, что наибольшим его расположением пользуется „человек, который мыслил вечность“, т.-е. Гегель. Мы предполагаем это потому, что, говоря об этом замечательном человеке, г. Волынский делает несравненно более ужимок, чем когда ему случается коснуться других великих идеалистов. Если наше предположение справедливо, то наш автор представляет из себя чрезвычайно замечательное и едва ли не единственное в своем роде явление: так редки гегельянцы в наше время.

Но с тех пор, как явилась система Гегеля, прошло, как известно, не мало времени. Философская мысль не стояла на одном месте. Внутри гегелевской школы произошло многозначительное разделение. Некоторые из примыкавших к ней философов перешли к материализму. А с другой стороны, естествознание и общественные науки обогатились такими важными открытиями, что решительно ни один серьезный человек не может теперь без очень и очень существенных оговорок объявить себя последователем Гегеля. Никаких таких оговорок мы не встречаем в книге г. Волынского. Г. Волынский не критикует Гегеля. Критика заменяется у него схоластическим и чрезвычайно малосодержательным изложением некоторых параграфов гегелевской логики да широковещательными и, в то же время, ровно ничего не выражающими тирадами, в роде нижеследующей:

„Дело не в том, верна ли эта система в отдельных своих частностях, выдержана ли она во всех подробностях. Промыслить (!) весь мир в его идеальных основах, уловить законы его непрекращающегося движения, постигнуть живого Бога в его общих и конкретных выражениях, дать жизненный импульс абстрактному и одушевить конкретное жаждой бесконечного — это вечная задача для философии, которая не пожелает ограничиться одними схоластическими, формальными построениями. Тут неизбежны некоторые ошибки, которые исчезнут в потоке дальнейшего философского прогресса. Тут неизбежны отдельные логические промахи. Но суть задачи, таким образом понятой, поставленной на такую реальную историческую (sic!) почву,

внутренними узами связанной с интересами человеческого существования, останется неизменной для всех времен и эпох". („Русские критики". Стр. 59—60).

Что г. Волынский „горяч необыкновенно", это не подлежит ни малейшему сомнению. Но о нем приходится сказать теми самыми словами, которыми он хочет характеризовать Белинского: „он не проявляет самобытного философского таланта". Да что там говорить о самобытном философском таланте! Г. Волынский не способен правильно понимать даже чужие философские мысли. Вот, например, он псбивает материализм доводами Юркевича, выступившего когда-то в „Трудах Киевской Духовной Академии" против автора знаменитой статьи „Антропологический принцип в философии". Между прочим, он приводит также следующий резкий приговор киевского мыслителя: „Материализм с его категорическим утверждением, что физические силы производят психическую жизнь, не имеет права считать себя ни наукой, ни философией, пригодной для современного человека. Это тоже метафизика, но при том метафизика грубая, догматически-первобытная, не понимающая, что материя только в связи с сознанием такова, какою она является в опыте". (Стр. 284).

Допустим, что здесь правильно изложен взгляд материалистов на отношение физических сил к психической жизни. Допустим также, что в силу изложенного соображения материализм оказывается грубой, догматически-первобытной метафизикой. Но не пострадает ли от этого нашего допущения и идеализм, столь любезный сердцу г. Волинского?

Г. Волынский правильно говорит, что „в основание всей своей системы Гегель положил понятие духа" (стр. 57). На каком же основании сделал это Гегель? Не показалось ли бы это грубой, первобытно-догматической метафизикой тем самым людям, которые считают неотразимым вышеприведенный довод против материализма? Известно ли г. Волинскому, как смотрел сам Гегель на то философское учение, из арсенала которого заимствован этот довод? Юркевичу это было, конечно, все равно: ему надо было только посрамить материалистов. Но наш-то гегельянец с какой стати вздумал восхищаться аргументацией Юркевича? Неужели он считает возможным валить в одну кучу абсолютный идеализм и „критическую" философию?

А теперь вернемся ко взгляду материалистов на отношение физических сил к психической жизни.

Материя, „какою она является нам в опыте“, не есть вещь в себе (*Ding an sich*), но нумен; она есть явление, феномен. Это неоспоримо; это простая тавтология. Но неоспоримо и то, что сознание, каким оно является нам в нашем внутреннем опыте, тоже есть явление, а не вещь в себе. У нас нет решительно никаких оснований для того, чтоб отождествлять один из этих феноменов с другим или вообще так или иначе сводить их один к другому, например, объявить материю „инобытием духа“, как это делал Гегель, или дух — инобытием материи, как это делают материалисты, по мнению Юркевича, Волынского и прочих любомудров (им же имя легион), не знающих истории материализма. Но у нас есть все необходимые и достаточные основания для того, чтобы признать существование известной связи между указанными феноменами.

Опыт показывает, что психические явления вызываются известными физико-химическими (физиологическими) явлениями в нервной ткани. „В наши дни, конечно, никто из знакомых с делом и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии заключаются в физиологии нервной системы“, говорит Гексли. „Так называемые, действия духа представляют собою совокупность мозговых функций, и явления сознания составляют результат деятельности мозга“¹⁾. Таким образом, если бы мы сказали вместе со Спинозой, что мысль и материя представляют собою два различные атрибута одной и той же субстанции, то мы должны были бы в то же время признать, что первый из этих атрибутов обнаруживается лишь благодаря второму. Это решительно ни в чем не противоречило бы выводам современной науки, а между тем это составляло бы как раз тот взгляд на „психическую жизнь“, который так не нравился Юркевичу.

II.

Пойдем дальше. Юркевич уверял, что материализм не может дать прочной основы истинно-прогрессивному миро-

¹⁾ Hume, sa vie, sa philosophie, Paris, 1880, p. 108. Надобно заметить, впрочем, что чувствительностью обладают, повидимому, уже такие организмы, у которых еще нет отдельной нервной системы.

созерцанию. То же повторяет г. Волынский, стараясь выставить на вид преимущества идеализма с точки зрения *практического разума*. Но, не обладая ни „самобытным философским талантом“, ни даже простою способностью правильно понимать чужие мысли, наш автор и в этом случае плохо успевает в своем намерении. Вот, например: Белинский упрекал Гегеля в том, что „субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него Молохом, ибо, пощеголяв в нем, оно бросает его, как старые штаны“.

Г. Волынский возражает:

„Зависимость субъекта от мирового всеобъединяющего духа — истинная сила этой системы, определившей (!?) верховный закон, смысл и порядок в процессе жизни. Именно в этом пункте учение Гегеля поднимается над заурядным знанием (а! именно в этом, — так и запишем), сливая науку с религией, давая твердый ответ на лучшие запросы человеческой души“ (стр. 102).

Скажите, читатель, — „твердый“ ли это ответ и вообще
...ответ ли это, полно?

Белинский говорит, что все толки Гегеля о нравственности пустяки, „ибо в объективном царстве мысли нет нравственности“. Нетрудно показать, что это „ибо“ неосновательно. Но г. Волынский ничего не показывает, а закативши, по своему обыкновению, глазки, дает волю своему „пафосу“.

„Если, чтобы спасти человечество от безнравственности, нужны ребяческие выдумки дилетантского субъективизма, то не подлежит сомнению, что человечество может быть спасено только усилиями чисто-русской философии (о которой Белинский никогда не мечтал). Философия, мыслящая мировое начало, делающая человека органом воплощения объективных сил, философия, созерцающая красоту и правду в движении всеобщего разума, — такая философия должна погубить человечество. Спасение только внутри“ (стр. 102).

Да, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский!

А то вот еще тирада не только с „кипением чувств“, но даже как бы и с некоею философическою хитростью.

„Прогрессивная сила идеализма — в отчетливом понимании той борьбы, которая вечно происходит между высшими и

они касаются Некрасова. Но с этой своей стороны они очень поучительны. Сказать, что Некрасов совершенно лишен поэтического дара—значит высказать мысль, ошибочность которой вполне очевидна. Хотя почти каждое стихотворение Некрасова *в целом* отличается—как я уже указывал—более или менее значительными погрешностями против требований строгого эстетического вкуса, но зато *во многих из них* можно найти места, ярко отмеченные печатью самого несомненного таланта ¹⁾. А гр. Л. Толстой не замечает этих мест потому, что ему вообще совершенно чуждо все настроение некрасовской музыки. Его собственное умственное и нравственное развитие шло путем, не имеющим ничего общего с тем, по которому двигалось умственное и нравственное развитие русского образованного разночинца. Л. Толстой—барин до конца ногтей даже там, где он кажется революционером. В его отрицании нет ни одного атома новаторских стремлений.

Вспомните некрасовскую „Песню“ из „Медвежьей охоты“:

„Отпусти меня, родная,
Отпусти, не споря!
Я не травка полевая,
Я выросла у моря,
„Не рыбацкий парус малый,
„Корабли мне снятся...
„Скучно! В этой жизни вялой
„Дни так долго длятся.
„Здесь, как в клетке, заперта я,
„Сон кругом глубокий...
„Отпусти меня, родная,
„На простор широкий“ и т. д.

Вспомните это стихотворение и скажите, согласилась-ли бы объявить его чуждым поэтического вдохновения одна из тех, до сих пор многочисленных у нас, девушек, которые рвутся на простор,—куда-нибудь „на курсы“, в Петербург, в Москву, за границу,—и которым приходится встречать любвеобильное нежное, но тем труднее преодолеваемое сопротивление со стороны матерей, отцов или вообще близких лиц. Тяжело огорчать этих лиц, трудно расставаться с ними, а между тем вялая домашняя жизнь делается все

¹⁾ Есть у него, впрочем, и вполне безукоризненные вещи, например, хотя бы его знаменитый „Дядя Влас“.

более и более нестерпимой и все более и более величественными и привлекательными становятся образы тех „кораблей“, которые носятся по „широкому раздолью“ сознательной жизни и которые „снятся“ молодому воображению. И вот молодая девушка начинает уверять своих близких, что только на одном из этих „кораблей“ найдет она нравственное удовлетворение, и что напрасно спорят с нею дорогие ей люди,—и эти-то ее речи Некрасов облакает в поэтическую форму: „отпусти меня, родная!“... Как же ей не притти в восторг от его стихотворения? И как же ей не любить самого поэта? А у Некрасова много стихотворений, так же удачно выражавших чувства молодых разночинцев. И вот почему молодые разночинцы просто-напросто не поняли бы человека, который вздумал бы доказывать им, что Некрасов не поэт: „предоставьте нам судить об этом“, сказали бы они такому человеку и были бы *совершенно правы*.

В доказательство того, что Некрасов своими стихотворениями будил и выражал прогрессивные стремления современной ему передовой молодежи, я приведу одно воспоминание из моей личной жизни.

Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили „Железную дорогу“, раздался сигнал, звавший нас на фронтное ученье. Мы спрятали книгу и пошли в цейхауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только-что прочитанного нами. Когда мы начали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: „Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!“ Эти слова глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать „Железную дорогу“...

В служении народу Некрасов видит главную задачу гражданина. Поэтому народ становится главным героем главных его произведений. Однако, что же мы узнаем от него об этом его герое? Нам уже известно, что положение его крайне тяжело. Но этого нам мало. Нам хочется знать, что же делает он сам для облегчения своей участи?

На этот счет Некрасов сообщает нам очень мало утешительного. Его народ не умеет бороться и не сознает не-

обходимости борьбы. Главной отличительной чертой этого народа является вечное терпение. Вот что, например, пишет Некрасов в 1858 году:

„Пожелаем тому доброй ночи,
„Кто все терпит во имя Христа,
„Чьи не плачут суровые очи,
„Чьи не ропщут немые уста,
„Чьи работают грубые руки,
„Предоставив почтительно нам
„Погружаться в искусства, науки,
„Предаваться мечтам и страстям;
„Кто бредет по житейской дороге
„В безрассветной, глубокой ночи,
„Без понятия о праве, о Боге,
„Как в подземной тюрьме без свечи“...

Нельзя вообразить ничего безотраднее такой картины. Это—последняя степень подавленности. Такому народу только и можно пожелать что — „добрый ночи“: проснуться он не способен. Некрасову, как видно, не редко приходит эта мысль; его „Размышления у парадного подъезда“ оканчиваются вопросом;

„ Эх сердечный!
„Что же значит твой стон бесконечный?
„Ты проснешься ль, исполненный сил,
„Иль, судеб повинувшись закону,
„Все, что мог, ты уже совершил,—
„Создал песню, подобную стону,
„И духовно навеки почил?“

Два года спустя, в 1860 году, Некрасов, в стихотворении „На Волге“, рисует бурлака, который поражает его все тем же бесконечным терпением и все той же тупой неподвижностью мысли:

„Унылый, сумрачный бурлак!
„Каким тебя я в детстве знал,
„Таким и ныне увидал:
„Все ту же песню ты поешь,
„Все ту же лямку ты несешь,
„В чертах усталого лица
„Все та ж покорность без конца...
„
„Отец твой сорок лет стонал,
„Бродя по этим берегам,
„И перед смертью не знал,

Что заповедать сыновьям,
И, как ему,—не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел“...

Некрасов знает, кто характеры людей складываются под влиянием окружающей их общественной среды, и нисколько не обманывает себя насчет свойств той среды, в которой складывался русский народный характер:

„Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!“

Впоследствии, когда „суровая среда“ утратила часть своей прочности под напором „новых веяний“ шестидесятых годов, и когда даже самые трезвые представители радикальной интеллигенции,—напр., Н. Г. Чернышевский,—не чужды были самых радужных ожиданий, у Некрасова является более отраднѣй взгляд на русский народ. Ему уже не приходит в голову тяжелое сомнение относительно его будущности; напротив, будущность эта рисуется его воображению в светлых красках. Он восклицает в „Железной дороге“, написанной в 1864 году:

„Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную—
Вынесет все, что Господь ни пошлет!
Вынесет все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе“...

Но старые впечатления еще слишком живы в поэте, чтобы счастлирое будущее русского народа могло представляться ему *близким*. Нет, оно еще очень, очень далеко; до него не доживет ни сам поэт, ни даже тот мальчик Ваня, с которым он разговаривает:

„Жаль только—жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе“...

А настоящее все еще сохраняет в себе мрачные черты недавнего прошлого. Народ попрежнему поражает своим терпением:

„Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой,
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда,
„Все претерпели мы—Божии ратники,
Мирные дети труда!“

И,—тоже попрежнему,—обираемый и угнетаемый народ готов за жалкую подачку, за стакан водки чуть ли не боготворить своих притеснителей. Это, как видно, всего большее Некрасову, и только-что цитированное мною стихотворение его заканчивается безотрадной сценой.

„В синем кафтане—почтенный лабазник
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Празднѣй народ расстѣпается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
Ладно... нешто... молодца... молодца!..
С Богом теперь по домам, поздравляю!
(Шапки долой,—коли я говорю)—
Бочку рабочим вина выставляю
И—недоимку дарю!..
Кто-то „ура“ закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь—
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей—и купчину
С криком „ура“ по дороге помчал...“

Замечу мимоходом, что эта картина написана рукою истинного художника, и что за нее одну можно простить Некрасову многие шероховатости и недостатки его „Железной дороги“. Странно, как Л. Толстой мог пройти мимо такой сцены!

Семидесятые годы были у нас временем знаменитого „хождения в народ“. Наша интеллигенция надеялась, что ее просветительная работа вызовет в темной народной массе жажду борьбы за свои интересы. Некрасов высоко ценил самоотверженность просветителей. Известно прекрасное стихотворение, написанное им, если не ошибаюсь, по поводу

одной группы этих людей, судьба которых в свое время наделала много шума:

„Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...“

Но по всему видно, что он ни на минуту не мог поверить в основательность тех упований, которые возлагались этими людьми на народ. В том самом стихотворении, где он с таким глубоким чувством говорит о „добрестно павших“, он называет Россию безответною странюю, в которой коется все честное и все живое. Но тут не хватало именно веры, а не симпатии.

Его „великий грешник“, разбойничий атаман Кудеяр, который впоследствии пошел в монахи и на которого „некий угодник“ наложил, в виде эпитимии, обязанность срубить ножом дуб в три обхвата, немедленно получил прощение грехов, когда вонзил свой нож в сердце жестокого помещика, пана Глуховского:

„Только-что пан окровавленный
Пал головой на седло—
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло!
Рухнуло древо, скатилось
С инока бремя грехов!..“

Однако, вопрос заключается не в том, как отнесся бы сам Некрасов к народному движению, а в том, возможно ли оно было при тогдашних обстоятельствах. Я сказал, что по моему мнению, оно представлялось Некрасову совершенно невысказанным. Правда, у него выходило так, что весело и вольготно живется в России только тем представителям радикальной интеллигенции, которые жертвуют собою для народа:

„Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею...“

Но в том-то и дело, что странники,—крестьяне разных деревень, порешившие не возвращаться домой, пока не решат, кому живется весело-вольготно на Руси,—не знали того, что творится с Гришею, и не могли знать. Стремления нашей радикальной интеллигенции оставались неизвестны и непо-

няты народу. Ее лучшие представители, не задумываясь, приносили себя в жертву его освобождению; а он оставался глух к их призывам и иногда готов был побивать их камнями, видя в их замыслах лишь новые козни своего наследственного врага—дворянства¹⁾. И в этом заключалась великая трагедия истории русской радикальной интеллигенции. Некрасов *по-своему* пережил эту трагедию. Он, считавший себя призванным воспеть страдания русского народа, грустно говорит почти накануне своей смерти:

„Скоро я стану добычею тленья,
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть.
Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой моей не стяжал;
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал“.

Грустный итог! Тяжелое сознание! И замечательно, что очень скоро после смерти Некрасова почти подобный же итог многие передовые люди увидели в результате своих просветительных усилий в крестьянстве. Некрасов умер 27 декабря 1877 года. А в конце 1879 г. значительная часть передовой русской интеллигенции объявила, что работать в народе при настоящих условиях—значит *биться, как рыба об лед*. Это было совершенно равносильно признанию того, что в конце семидесятых годов радикальная интеллигенция оставалась такою же *чуждою народу*, какой она была в ту эпоху, когда Некрасов „жить начинал“.

Существующие условия делали невозможной работу в народе; а без работы в народе нельзя было надеяться на

1) *Сознание* народа определяется *образом его жизни*. Экономическая основа русского строя,—прикрепление крестьян к земле, которая, в сущности, принадлежит государству, хотя находится в пользовании отдельных общин,—была, как две капли воды, похожа на тот экономический фундамент, на котором покоились государства древнего Востока. Неудивительно, что нравы и взгляды русского народа тоже имели очень заметный восточный оттенок. „Святорусский богатырь“ Савелий („Кому на Руси жить хорошо“)—типичный крестьянин Востока. Читая его рассказ о том, как его родная „Корежина“ уклонялась от платежа оброка своему помещику Шалашникову, невольно вспоминаешь „Manners and Customs of ancient Egyptians“ Уилькинсона (см. 2-й том, стр. 40 и след.; The bastinado).

изменение к лучшему существующих условий, как это ясно показала неудача людей, пытавшихся силами одной интеллигенции изменить положение дел к лучшему. Вся духовная история нашей радикальной интеллигенции сводится к усилиям разрешить это противоречие.

Теперь оно, к величайшему счастью, уже разрешено жизнью, т.-е. тем самым ходом экономического развития, который сделал когда-то необходимыми реформы 60-х годов.

Теперь, под влиянием экономического развития, в нашем „народе“ появился класс несравненно более чуткий, подвижной, отзывчивый и нетерпеливый, нежели то крестьянство, которое надрывало сердце Некрасова своими стонами и доводило его до отчаяния своим долготерпением. Этот класс очень недвусмысленно показывает нам, что он совсем не намерен „почтительно“ предоставить другим классам наслаждение всеми материальными и духовными благами жизни, ничего не оставляя на свою долю, кроме тяжелого физического труда. Его „суровые очи“ уже не „плачут“, а горят сознанием своей силы. И странно было бы теперь с нашей стороны желать ему „доброй ночи“.

С появлением этого класса у нас началась новая эпоха, замечательная тем, что даже крестьянин не так неподвижен теперь, как был он при жизни Некрасова. Новые экономические отношения, заново переделывая нашу общественную, когда-то столь „прочную“ среду, заново переделывают также и наш народный характер.

Некрасову не суждено было дожить до новой эпохи. Но, если бы он дожил до нее, он увидел бы, что в современной России есть люди, которым, несмотря ни на что, живется много веселее и гораздо вольнее, чем жилось его Грише.

А узнав и поняв этих, новых на Руси людей, он, может быть, написал бы в их честь новую, вдохновенную песню: не „голодную“ и „не соленую“, а такую, в которой, по-прежнему, слышались бы звуки „мести“, но зато звуки „печали“ заменились бы звуками радостной уверенности в победе. С изменением народного характера изменился бы, может-быть, и характер некрасовской музыки.

Но смерть давно уже скосила Некрасова. *Поэт разношце* 25 лет тому назад сошел с литературной сцены, ается ждать появления поэта работников.

СОДЕРЖАНИЕ

Стран.

СУДЬБЫ РУССКОЙ КРИТИКИ.

1. А. Л. ВОЛЫНСКИЙ. РУССКИЕ КРИТИКИ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ 5
2. ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ 42
3. БЕЛИНСКИЙ И РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 95
4. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ В. Г. БЕЛИНСКОГО. 155

НАШИ БЕЛЛЕТРИСТЫ-НАРОДНИКИ.

1. ГЛ. И. УСПЕНСКИЙ 215
2. Н. И. НАУМОВ 277
3. С. КАРОНИН 303
- Н. А. НЕКРАСОВ. 353

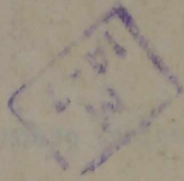
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

1. Н. ЛЕНИН. Две тактики социал-демократии и демократ. революции.
2. Н. ЛЕНИН. Что делать.
3. Н. ЛЕНИН. Старые статьи на близкие к новым темы.
4. Л. КАМЕНЕВ. Экономическая система империализма.
5. Г. В. ПЛЕХАНОВ. В защиту революционного марксизма.
6. К. КАУТСКИЙ. Этика и материалистическое понимание истории.
7. КАУТСКИЙ. Антибернштейн.
8. К. ЦЕТКИН. Карл Маркс и дело его жизни.
9. АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС. Л. Толстой. Сборник статей.
10. АНДРЕЕВИЧ. Опыт философии русской литературы.
11. ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ в МОСКВЕ 1917 года. Сборник статей.
12. В. ФРИЧЕ. Очерк развития западно-европейской литературы.
13. ПЕРЕВЕРЗЕВ. Творчество Достоевского.
14. КЕЛЛЕРМАН. 9-е ноября. Роман.
15. БИБИК. На черной полосе. Роман.
16. А. БИБИК. К широкой дороге. Роман.
17. ВАСИЛЬЧЕНКО. Две сестры. Пьеса.
18. ШУЛЬГИН. Очерки 1920 года.
19. ОРЕШИН. Алый Храм. Стихи.
20. БРАЖНЕВ. Буйный хмель. Стихи.
21. СИНИЦКИЙ. Трудовая школа.
22. Э. д'ЭРВИЛЬИ. Приключения доисторического мальчика.
23. ФИТЧ-ПЕРКИНС. Мини и Монни. Повесть для детей.
24. ФИТЧ-ПЕРКИНС. Маленькие японцы. Повесть для детей.
25. АЛТАЕВ и ФЕЛИЧЕ. В великую бурю. Повесть для детей.
26. М. КОВАЛЕНСКИЙ. Происхождение царской власти.
27. М. КОВАЛЕНСКИЙ. Московская смута XVII в.
28. АНЕКШТЕЙН. Фурье.
29. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ. Русско-еврейская литература.
30. Л. ДЕЙН. Г. В. Плеханов.
31. ФОН-ПОЛЕНЦ. Крестьянин. Роман.
32. М. ДОДЖ. Серебряные Комьки. Повесть.
33. НАСИМОВИЧ. Конь-Огонь. Сказки.
34. НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ. Сборник.
35. ПИСЬМА ЛЕЙТЕНАНТА П. ШМИДА.
36. НЕКСЕ. Рассказы.
37. РОНИ. Вамирэх.
38. ЛЕЙТЕНАНТ П. ШМИДТ. Письма.
39. ПЕДОГОГИЧЕСКАЯ МОСКВА. Календарь.
40. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ. Часть I.
41. Л. КАМЕНЕВ. Между двумя революциями. Сборник статей.

С ЗАКАЗАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ
В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ МОСКОВСКОГО СОВЕТА:

- 1) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД. } Кузнецкий мост, № 1.
- 2) КНИЖНЫЙ МАГАЗИН № 1. }
- 3) КНИЖНЫЙ МАГАЗИН № 2. (б. Суворина). Неглинный проезд, д. № 9.
- 4) КНИЖНЫЙ МАГАЗИН № 3. (б. Карбасникова). Моховая, д. № 24.

2-
US6610/1281



LIBRARY IN THEATRE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY